

Ханна Арендт. "О Революции". Рус. пер. Игорь В. Косич

## ВВЕДЕНИЕ



## ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ

Войны и революции – словно события не замедлили исполнить известное ленинское предсказание [имеется ввиду определение Лениным 20-го века как века “войн и революций” – зд. и далее в скобках могут следовать мои примечания, кот. специально оговариваются – И. К.]– до сего дня определяли облик 20-го столетия. И в отличие от идеологий 19-го века – таких, как национализм и интернационализм, капитализм и империализм, социализм и коммунизм, утратившими (хотя к ним всё ещё взывают многие с целью объяснения их причин) контакт с основными реалиями нашего мира – война и революция до сих пор составляют две его центральные политические темы. Они пережили все свои идеологические обоснования. В политической ситуации нашего времени, чреватой, с одной стороны угрозой тотального истребления в войне, и вместе с тем не дающей угаснуть надежде на эмансипацию человечества путём революции – открывающей перед всеми народами перспективу “занять среди других держав земли независимое и равное положение, на которое им дают право Законы Природы и её Творца” [слова из Декларации независимости США от 4 июля 1776 г. – И. К.]– нет и поныне более важного вопроса, вопроса, с самого начала нашей истории определившего основное содержание политики: свобода или тирания?

Само по себе это достаточно необычно. Действительно, совместными усилиями современных “наук”, таких, как психология и социология, ничто, казалось бы, не было столь убедительно развенчано, как идея свободы. Даже революционеры, которым как будто самой судьбой уготовано служить хранителями традиции, попросту непредставимой без понятия свободы, склонны ныне скорее презирать её как мелкобуржуазный предрассудок, нежели признать свободу, как это бывало ранее, целью революции. Но ещё более странно наблюдать, что в то время, как слово “свобода” вот-вот совсем исчезнет из революционного словаря, оно то и дело всплывает в современных политических дискуссиях, посвящённым важнейшей проблеме войны и оправданности применения насилия. С исторической точки зрения, войны принадлежат к числу древнейших из засвидетельствованных событий прошлого, тогда как революции, в собственном смысле, не существовали до Нового времени; они – одни из самых новых политических явлений. В отличие от революций, войны только в редких случаях преследовали своей целью свободу; и хотя верно, что вооружённые выступления против иноземных захватчиков освящались, никогда, ни в теории, ни в практике, они не были признаны в качестве единственно

справедливых войн.

Оправдания войн, даже на теоретическом уровне, весьма стары, хотя, конечно, не столь древни, как сами войны. В основе их как правило лежало убеждение, что в политические отношения в их нормальном виде не должно вмешиваться насилие. Это убеждение мы впервые обнаруживаем у древних греков, рассматривавших свой полис, город-государство, как такое сообщество, жизнь в котором основана исключительно на убеждении, а не на насилии. (Что это не пустые слова и не самообман, демонстрируется, помимо прочего, обычаем афинян "убеждать" осуждённого на смерть принять её из своих собственных рук, выпив кубок с ядом, чем граждане Афин даже в крайних случаях оградялись от физического насилия). Тем не менее, поскольку политическая жизнь греков по определению не выходила за пределы стен полиса, использование насилия не нуждались, на их взгляд, в оправдании в сфере того, что мы сегодня называем иностранными делами или международными отношениями. И это при том, что все их иностранные дела, за исключением одних только греко-персидских войн, в которых вся Эллада предстала объединённой, едва ли выходили за рамки отношений между греческими городами. За стенами полиса, а, значит, и за пределами сферы политики, как её понимали греки, "сильные делали, что могли, а слабые страдали, как им должно" (Фукидид).

Первые оправдания войн наряду с первым разграничением справедливых и несправедливых войн мы находим в римской античности. Однако как таковые они не затрагивали проблему свободы и не проводили грани между агрессивными и оборонительными войнами. "Поистине справедлива та война, которая необходима, - писал Ливий, - и свято оружие, когда не остаётся надежды кроме как на оружие" ("Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma ubi nulla nisi in armis spes est"). Необходимость во времена Ливия и на протяжении последующих столетий означала множество такого, что мы сочли бы сегодня вполне достаточным чтобы признать ту или иную войну скорее несправедливой, нежели справедливой. Завоевание, экспансия, защита сфер интересов, сохранение силы перед лицом зреющей угрозы со стороны соседей или же поддержание существующего баланса сил – всё это хорошо известные приёмы и уловки из арсенала силовой политики на деле не только служили причинами возникновения большинства войн в истории, они также были признаны "необходимыми" т. е. законными мотивами для объявления войны. Представление о том, что агрессия является преступлением и что войны могут быть оправданы только в случае, если они служат отражению или предотвращению агрессии, приобрели своё практическое и теоретическое значение только после того, как Первая Мировая война впервые со всей наглядностью продемонстрировала чудовищный деструктивный потенциал современного оружия.

Пожалуй, именно это бросающееся в глаза отсутствие понятия свободы в традиционных оправданиях войн служит причиной того, что его появление в современных дебатах по военному вопросу несколько режет слух. Легкомысленные вариации на тему "свобода или смерть" перед лицом беспрецедентного разрушительного потенциала атомного оружия не просто утратили смысл, но выглядят совершенно нелепыми. Действительно, едва ли подлежит сомнению, что риск собственной жизнью ради жизни и свободы своей страны совсем не одно и то же, что и риск самим существованием рода человеческого в тех же целях. ...[\(1\)](#) Вместе с тем важно не упускать из виду, что идея свободы была введена в эти дебаты о войне только после того, как стало очевидным, что мы достигли такого уровня технического развития, когда средства уничтожения уже исключают своё рациональное применение. Иначе говоря, тема свободы возникла в этих дискуссиях подобно *deus ex machina* (бог из машины –лат. здесь в значении чего-то совершенно внешнего для данной темы) с целью оправдать то, что уже не поддаётся оправданию другими средствами. Часто ли в безнадежной мешанине точек зрения и аргументов доводилось нам встречать обнадёживающие признаки возможного глубокого изменения международных отношений, которое даже без радикальной трансформации их характера и без внутреннего изменения самого человека привело бы к устранению войны с политической сцены? Не свидетельствует ли наше нынешнее замешательство в этом вопросе о недостаточной готовности к исчезновению войны, о нашей неспособности говорить о внешней политике не держа в уме этого "продолжения политики иными средствами" (известные слова немецкого военного теоретика К. фон Клаузевица) в качестве последнего довода?

Если не считать угрозу полного уничтожения, которая в перспективе могла бы быть устранена с новыми техническими открытиями, такими как "чистая" бомба или "антиракета", лишь немного указывает в данном направлении. **Во-первых**, это тот факт, что семена тотальной войны проросли не ранее Первой Мировой войны, когда различие между военным и гражданским населением уже не бралось в расчёт поскольку было несовместимо с применением новых видов оружия. Правда, само это различие было относительно недавним приобретением, и практический отказ от него означал не более чем возврат к временам, когда римлянами был стёрт с лица земли Карфаген. В современных условиях, это новое явление или возвращение тотальной войны обладает огромной политической значимостью, поскольку вступает в противоречие с краеугольным принципом, на котором зиждилось отношение между военной и гражданской властями: функция армии как раз и состоит в охране и защите гражданского населения. Вопреки этому, почти вся история войн в нашем столетии свидетельствует о возрастающей неспособности армии осуществить эту свою главную функцию. К настоящему же моменту стратегия сдерживания фактически низвела роль военных из защитников в запоздалых и малоэффективных мстителей.

С этим извращением взаимоотношений между государством и армией тесно связан **второй** редко отмечаемый, но тем не менее достойный внимания факт. А именно, после Первой Мировой войны нам представляется уже как бы само собой разумеющимся, что никакое правительство, никакое государство и никакая форма правления не обладает достаточной прочностью чтобы пережить поражение в войне. Такое развитие событий наблюдается ещё в 19-м веке, когда франко-прусская война повлекла за собой трансформацию Второй Империи в Третью Республику во Франции; а русская революция 1905 года, последовавшая за поражением царизма в русско-японской войне, явилась зловещим знаком той участи, которая уготована режимам в случае их военного поражения. Как бы то ни было, революционное изменение правления, осуществляется ли оно самим народом, как это было после 1-й Мировой войны, или же навязано извне победителями наряду с требованием безоговорочной капитуляции и наказания военных преступников, относится сегодня к наиболее вероятным последствиям поражения в войне, если не считать, конечно, полного уничтожения. Вызван ли такой оборот событий фатальным ослаблением власти как таковой, утратой ей своего авторитета, или же никакое государство и никакое правительство, сколь бы оно не было прочно и сколь бы не пользовалось доверием своих граждан, не может устоять перед небывалым всплеском насилия, какой влечёт за собой война, в данном отношении несущественно. Ибо ещё до возникновения ядерной угрозы войны стали политически, хотя всё же ещё не биологически, делом жизни и смерти. А это означает, что после Первой Мировой войны все правительства жили заёмным временем.

Этот **третий** факт, как кажется, указывает на радикальное изменение в самой природе войны в эпоху, когда руководящим принципом военной политики становится сдерживание. Ибо эта последняя "имеет своей целью в действительности избежания войны нежели победы в ней, несмотря на все военные приготовления. Она пытается достичь своих целей посредством угрозы, которую не приводит в исполнение, а не самим действием". (2) Конечно же, представление, будто мир является целью войны, а война тем самым – путём к миру, восходит по меньшей мере к Аристотелю, а предлог, будто целью наращивания вооружений выступает сохранение мира, ещё более древен и является ровесником пропаганды. Новизна же проблемы в том, что сегодня избежание войны является не столько действительной или мнимой целью глобальной политики, но стало направляющим принципом самих военных приготовлений. Другими словами, военные уже более не занимаются подготовкой к войне, которая, как надеются политики, никогда не разразится; их задачей стала разработка вооружений, которые сделали бы войну невозможной....Те же ядерные испытания давно уже стали инструментом политики, своего рода военными манёврами, в которых, в отличие от обычных манёвров, задействована не просто пара условных противников, но, в какой-то мере также и реальных. Как если бы гонка ядерных вооружений обернулась разновидностью предварительных военных действий, в которых противники демонстрируют друг перед другом разрушительную силу своего оружия; и как всегда сохраняется опасность, что эта смертельная игра может внезапно стать вполне реальной войной, так и нет ничего невозможного в том, что однажды "холодная" война может завершиться победой одной из сторон, так и не став "горячей".

Есть ли эта последняя возможность лишь плод фантазии? Потенциально, во всяком случае, мы столкнулись с подобного рода гипотетическими военными действиями в тот самый момент, когда на арену впервые выступила атомная бомба. Многие тогда полагали, что вполне достаточно продемонстрировать это новое оружие перед группой компетентных японских учёных, и безоговорочная капитуляция их правительства будет обеспечена. Ибо для посвящённых подобная демонстрация должна была открыть факт абсолютного превосходства, поколебать которое не была в силах ни военная удача, ни любой другой фактор. За годы после Хиросимы наши технические успехи в разработке средств уничтожения быстро достигли такого уровня, когда все нетехнические факторы боевых действий, такие, как боевой дух войск, стратегия, общая компетенция и даже случайность не играют более никакой роли, так что их результаты с большой точностью могут быть определены заранее. В подобных условиях результаты этих испытаний и демонстраций могут служить для экспертов с обеих сторон в качестве исчерпывающих свидетельств победы или поражения, подобно тому, как сражения, захват территорий, степень разрушения коммуникаций и т. п. служили в качестве таких свидетельств ранее.

И, наконец, и в данном отношении наиболее важное, это тот факт, что взаимовлияние и взаимосвязь между войной и революцией неуклонно возрастает, а акцент в их взаимоотношении всё более и более смещается от войны к революции. Безусловно, эта взаимосвязь между войной и революцией не так уж нова; она родилась вместе с революциями, которым либо предшествовала и сопутствовала война за освобождение, как в случае Американской революции, либо же они сами вели к оборонительным или агрессивным войнам, как это было во Французской революции. Вместе с тем наш век стал свидетелем ещё и третьей, совершенно новой возможности, когда ожесточение войны служит как бы прелюдией к кульминации насилия и революции (именно так понимал войну и революцию в России Пастернак в "Докторе Живаго"); или же, напротив, когда мировая война предстаёт последствием революции, своего рода гражданской войной охватившей всю землю (как не без оснований оценивается многими Вторая Мировая война). После неё уже почти стало прописной истиной, что итогом войны оказывается революция, и единственное, что могло бы оправдать такое развитие событий – это приверженность данной революции свободе. И если нам не суждено исчезнуть вовсе, то более чем вероятно, что именно революции, а не войны, будут сопутствовать нам в обозримом будущем. Даже если нам удастся изменить облик нашего столетия таким образом, что оно более не будет уже столетием войн, оно по всей очевидности останется столетием революций. Те же, кто по обыкновению делает ставку на политику силы, а значит, и на войну как последний козырь, рискуют в недалёком будущем оказаться за бортом мировой политики. И подобная оценка роли революции не может быть ни опровергнута, ни заменена опытом в контрреволюции; ибо контрреволюция (слово введено в оборот Кондорсе в период Французской революции) всегда была тесно переплетена с революцией, подобно тому, как противодействие неотделимо от действия. Известная сентенция де Местра: " *La contre-revolution ne sera point une révolution contraire, mais le contraire de la révolution*" ("Контрреволюция не в коей мере не будет революцией наоборот, но полной противоположностью революции") осталась сегодня тем же, чем она была в момент написания в 1796: пустой игрой слов.<sup>(3)</sup>

И всё же, сколь бы не было необходимо в теории и на практике отделить войну от революции, не следует забывать об их общности: тесной связи с насилием, выделяющей одну и вторую из всех остальных политических феноменов. Одной из причин, почему войны столь легко обращаются в революции, и почему революции столь склонны к провоцированию войн, является, несомненно, то, что насилие выступает своеобразным общим знаменателем для обеих. Потока насилия, какой выплеснула Первая Мировая война, вполне было бы достаточно для последующих революций даже в том случае, если бы вовсе не существовало никакой революционной традиции и даже если бы никогда ранее не происходило никаких революций.

Конечно же, даже войны, не говоря уже о революциях, не определялись всегда одним лишь насилием. Там, где насилие правит абсолютно, как, например, в концентрационных лагерях тоталитарных режимов, не только законы – *les lois se taisent* (законы умолкают-фр.) – как это выразила Французская революция, но всё и вся должно умолкнуть. Именно

по причине этого молчания насилие оказывается маргинальным феноменом в области политики; ибо человек постольку поскольку он является политическим существом, обладает даром речи. Два известные определения человека, данные Аристотелем: как существа политического и одарённого речью дополняют одно другое и основываются на одном и том же полисном опыте жизни греков. Дело здесь даже не в том, что слово беспомощно когда сталкивается с насилием, но в том, что насилие как таковое неспособно к словесному выражению. По причине этой его бессловесности, политическая теория сама по себе способна сказать лишь очень немногое о феномене насилия. Ибо политическая мысль может лишь следовать за самовыражением самих политических феноменов, ограничиваясь тем, что обнаруживает себя в области человеческих дел. И эти явления, в отличие от физических, дабы не остаться втуне, нуждаются в словесном обрамлении, иначе говоря, в чем-то, что выводило бы их за пределы голой физической видимости и слышимости. Тем самым теории войн как и теории революций могут иметь дело лишь с объяснением насилия, но не с ним самим, ибо это последнее задаёт тому некоторые политические рамки, делая его политическим феноменом. Если же вместо этого какая-либо из теорий видит в насилии *ultima ratio* (последний довод, решающее средство – лат.) политики, приходя к его возвеличиванию и оправдывая насилие как таковое, то она уже более не будет политической, но станет антиполитической.

В той мере в какой насилие преобладает в войнах и революциях, они оказываются вне политики в строгом смысле слова, и это даже несмотря на их чрезвычайно важную роль во всей предыдущей истории. Осознание этого факта натолкнуло 17-й век, обладавший собственным опытом войн и революций, к допущению некоего дополитического состояния, названного *“state of nature”* (англ.), *“естественным состоянием”*, которое, конечно же, никогда не рассматривалось в качестве исторического факта. Его значимость и по сей день состоит в признании того, что политические взаимоотношения не устанавливаются сами собою везде и всегда, где люди живут вместе, и что существуют явления, которые, хотя они и могут возникать в строго историческом контексте, на деле не являются политическими и даже могут вовсе не иметь никакого отношения к политике. Эта идея *“естественного состояния”* по меньшей мере намекает на некую реальность, которая не могла быть вмещена в идею *“эволюции”* 19-го века, какое бы концептуальное обрамление та не принимала: причины и следствия, возможности и действительности, диалектического движения, наконец, простой связи и последовательности явлений. Ибо гипотеза *“естественного состояния”* подразумевает наличие некоего начала, отделённого от всего последующего как бы непреодолимой пропастью.

Связь этой проблемы начала с феноменом революции очевидна. То, что это начало должно быть сопряжено с насилием, гласят легенды о начале человеческой истории в их библейском и античном вариантах: Каин убил Авеля, Ромул убил Рема; насилие явилось началом, из чего должно следовать, будто никакое начало не может обойтись без насилия, без преступления. Это начальное событие нашей библейской или светской традиции, безразлично легенда оно или реальный исторический факт, было донесено через века с той цепкостью, на какую человеческая мысль способна лишь в редких случаях ярких метафор и имеющих универсальный характер образов. Эта легенда гласит безо всяких околичностей: любое братство вырастает из братоубийства, в начале любого политического порядка лежит преступление. И это убеждение: в начале было преступление, для которого термин *“естественное состояние”* представляет не более чем теоретически очищенную парафразу, обладало в течение столетий не меньшим правдоподобием в делах политики, чем первая строка Св. Иоанна: *“В начале было Слово”*, обладала в делах спасения.



сальвадор дали три сфинкса острова бикини 1947 литография